

Подавление литературы. Джордж Оруэлл

С год тому назад мне довелось побывать на собрании, организованном пен-клубом по случаю трехсотлетия выхода «Ареопагитики» Мильтона[1 - «Ареопагитика» – Джон Милтон.] – памфлета, хочу напомнить, в защиту свободы печати. На листовках с объявлением о собрании – их распространили заранее – было напечатано знаменитое изречение Мильтона о грехе «убиения» книги.

Ораторов было четверо. Один произнес речь действительно о свободе печати, но только в Индии; второй довольно неуверенно и крайне расплывчато высказался в том духе, что свобода вообще вещь прекрасная; третий взял под обстрел законодательство против непристойности в литературе. Четвертый большую часть своей речи посвятил защите «чисток» в России. Выступления из зала либо касались вопросов непристойности и соответствующих законов, либо представляли собой откровенные славословия Советской России. В целом все высказались за свободу нравственности – свободу открыто обсуждать в печати проблемы пола; о политической свободе никто, однако, не сказал ни слова. Среди нескольких сотен собравшихся, половина из которых, вероятно, имела к писательству прямое отношение, не нашлось ни единого, кто бы сумел довести до сознания, что если свобода печати что-то и значит, так это свободу критики и оппозиции.

Показательно, что никто из выступавших не обратился к тексту памфлета, юбилей которого они, по всей видимости, пришли отметить. Не были упомянуты и различные книги, «убитые» у нас и в Соединенных Штатах в годы войны. В конечном итоге собрание стало демонстрацией в поддержку цензуры.[2 - Справедливости ради замечу, что торжества в пен-клубе, занявшие больше недели, не все проводились на одном и том же уровне. Мне просто выпал неудачный день. Но знакомство с речами (их сборник опубликован под названием «Свобода слова») показывает, что в наши с вами времена почти не осталось людей, способных отстаивать свободу мысли так же убедительно, как то удавалось Мильтону триста лет тому назад – и это при том, что он писал в эпоху гражданской войны. Прим. автора.]

Это не столь уж и удивительно. В наш век само понятие свободы мысли подвергается нападкам с двух сторон: с одной – его врагов в теории, апологетов тоталитаризма; с другой – его непосредственных врагов на практике, монополий и бюрократии. Любой писатель или журналист, желающий оставаться честным, обнаруживает, что ему мешают не столько прямые преследования, сколько общественные тенденции. Против него работают такие явления, как концентрация печати в руках горстки богачей; монополия на радио и в кинематографе; нежелание публики тратить деньги на книги, что вынуждает едва ли не всех писателей зарабатывать на хлеб еще и литературной поденщиной; расширение деятельности официальных организаций вроде министерства информации и Британского Совета, которые помогают писателю держаться на плаву, но зато отнимают у него время и диктуют, что ему думать; военная обстановка долгого последнего десятилетия, разлагающего воздействия которой никто не смог избежать. В наш век все направлено на то, чтобы писателя, да, впрочем, и любого другого художника, превратить в мелкого служащего – пусть его разрабатывает спущенные «сверху» темы и никогда не говорит всей правды, как он ее понимает. Однако в борьбе с этой предписанной ему ролью он не получает помощи от своих: нет такого влиятельного общественного мнения, которое укрепило бы его в сознании своей правоты. В прошлом, по крайней мере на всем протяжении протестантских веков, представление о бунте совпадало с представлением о честности мышления. Еретиком – в политике, морали, религии или эстетике – был тот, кто отказывался насиловать собственную совесть. Еретическое мировоззрение подытожено в словах возрожденческого[3 - Возрожденцы – Радикальная протестантская секта.] гимна:

Посмею быть Даниилом,

Посмею один против всех;
Посмею цель себе выбрать,
Посмею поведать о ней.

Чтобы привести этот гимн в соответствие с днем сегодняшним, каждую строку следует начать с частицы «не». Ибо отличие нашего века таково, что бунтари против существующего порядка, по крайней мере самые многочисленные и типичные, одновременно отвергают и понятие личности, «Посмею один против всех» – равно преступно идеологически и опасно на деле. Неясные экономические силы разъедают независимость писателя и художника; в то же время ее подтачивают те, кто призван ее защищать. О них я и говорю на этих страницах.

Доводы, что приводят обычно противники свободы мысли и свободы печати, не стоят того, чтобы с ними возиться. У любого лектора и спорщика с опытом они навязли в зубах. Я не стану опровергать здесь избитые заявления о том, что свобода – иллюзия или что в тоталитарных государствах свободы больше, чем в демократических, но остановлюсь на куда более тонком и опасном утверждении, будто свобода нежелательна, а честность мышления – это форма антиобщественного себялюбия. Хотя, как правило, на первый план выступают другие стороны вопроса, спор о свободе слова и свободе печати в основе своей – спор о желательности или, напротив, недопустимости лжи. В сущности, речь идет о праве освещать текущие события правдиво – разумеется, с поправкой на неосведомленность, пристрастность и самообман, которые неизбежно свойственны любому наблюдателю. Мои слова могут быть поняты в том плане, что из всех видов литературы сказанное имеет отношение только к прямому «репортажу»; однако дальше я постараюсь показать, что на любом литературном уровне и, скорее всего, в каждом из искусств возникает – в том или ином преломлении – все та же проблема. Но прежде необходимо отбросить шелуху не относящихся к делу частных, которой обычно обрастает эта запутанная полемика.

Враги свободы мысли всегда стремятся представить свою точку зрения как защиту дисциплины от индивидуализма. Проблема «правда-против-лжи», поелику возможно, отодвигается ими на задний план. Акценты бывают различными, но писателя, отказывающегося продавать свои убеждения, неизменно клеймят как жалкого эгоиста. То есть обвиняют либо в желании замкнуться в башне из слоновой кости, либо в духовном эксгибиционизме, либо в попытке помешать неизбежному ходу истории тем, что он цепляется за несправедливые привилегии. Католики и коммунисты имеют одно общее – считают противную сторону неспособной быть одновременно честной и умной. И те и другие исходят из того, что «истина» уже открыта, и еретик, если он не безнадежный дурак, втайне «истину» знает, но не признает из чисто эгоистических соображений. В коммунистической литературе нападки на свободу мысли, как правило, обставляются рассуждениями о «мелкобуржуазном индивидуализме», «иллюзиях либерализма XIX века» и т. п. и подкрепляются ругательными эпитетами типа «романтический» и «сентиментальный», на которые трудно что-нибудь возразить, поскольку всяк понимает их по-своему. Таким манером спор уводится в сторону от настоящей проблемы. Можно принять – и наиболее просвещенные люди готовы принять – коммунистическое положение о том, что абсолютная свобода станет возможна только в бесклассовом обществе и почти свободен тот, кто работает на приближение этого общества. Но заодно протаскивается и совершенно необоснованное утверждение, будто сама коммунистическая партия нацелена на построение бесклассового общества и что в СССР эта цель уже осуществляется. Если признать, что второе утверждение вытекает из первого, то тогда можно найти оправдание практически любому насилию над здравым смыслом и элементарной порядочностью. Тем временем, однако, суть дела уже размыта. Ведь свобода мысли означает свободу говорить и писать о том, что увидел, услышал, почувствовал, а не обязанность

сочинять несуществующие факты и чувства. Привычные тирады против «бегства от жизни», «индивидуализма», «романтизма» и т. д. – всего лишь демагогический прием, призванный выдавать искажение истории за нечто благопристойное.

Отстаивая свободу мысли пятнадцать лет назад, приходилось защищать ее от консерваторов, от католиков, в какой-то степени – потому что в Англии они не играли существенной роли – от фашистов. Теперь ее приходится защищать от коммунистов и «попутчиков». Не следует преувеличивать непосредственное влияние малочисленной английской компартии, но одурманивающее воздействие русского *mythos*[4 - *Mythos* – Миф, мифологические представления (греч.).] на английскую интеллектуальную жизнь не вызывает сомнения. Из-за него известные факты так скрывают и искажают, что возникает сомнение: можно ли будет хоть когда-то написать подлинную историю нашего времени? Позволю себе привести один из бесчисленных имеющихся примеров. Когда Германия потерпела крах, выяснилось, что огромная масса советских граждан – в основном, безусловно, по причинам совсем неполитическим – переметнулась к противнику и воевала на стороне немцев. Кроме того, небольшое, но отнюдь не ничтожное число русских военнопленных и перемещенных лиц отказалось возвратиться в СССР, и по крайней мере некоторых из них репатриировали в принудительном порядке. Эти факты, сразу же ставшие известными многим журналистам, британская пресса почти полностью обошла молчанием, хотя в то же самое время просоветски настроенные публицисты в Англии продолжали искать оправдания казням и ссылкам 1936–1938 годов, заявляя, что в СССР «не было квислингов».[5 - ...не было квислингов – Имеется в виду норвежский государственный деятель В. Квислинг, сотрудничавший с немецкими оккупантами Норвегии во Вторую мировую войну.] Туман дезинформации и лжи, окутывающий такие темы, как голод на Украине, гражданская война в Испании, советская политика по отношению к Польше и др., порожден не одним только сознательным обманом; всякий писатель и журналист, безоговорочно поддерживающий СССР, то есть поддерживающий именно так, как желательно самим русским, вынужден молчаливо соглашаться с заведомым искажением важных вопросов, по которым идет спор. Передо мной редкая, по-видимому, брошюра, написанная Максимом Литвиновым в 1918 году и дающая очерк революционных событий того времени в России. Сталин в ней даже не упомянут, зато высоко оценена роль Троцкого, а также Зиновьева, Каменева и других. Что делать с такой брошюрой даже самому честно мыслящему коммунисту? В лучшем случае, как подобает мракобесу, объявить ее нежелательным документом, подлежащим запрету. Если же по каким-то причинам было бы решено издать эту брошюру «с исправлениями», очернив Троцкого и вставив упоминания о Сталине, против этого не сможет протестовать ни один коммунист, сохраняющий верность партии. В последние годы выходили фальшивки, едва ли не столь же чудовищные. Важно, однако, не то, что это происходило, а то, что, даже когда об этом становилось известно, левая интеллигенция в целом никак на это не реагировала. На доводы о том, что правда была бы «несвоевременна» или могла кому-то там «сыграть на руку», невозможно вроде бы возразить, и очень немногих тревожит, что ложь, которой они попустительствуют, способна переключаться из газет на страницы исторических сочинений.

Отлаженное вранье, ставшее привычным в тоталитарном государстве, отнюдь не временная уловка вроде военной дезинформации, что бы там порой ни говорили. Оно лежит в самой природе тоталитаризма и будет существовать даже после того, как отпадет нужда в концентрационных лагерях и тайной полиции. Среди мыслящих коммунистов имеет хождение негласная легенда о том, что, хотя сейчас Советское правительство вынуждено прибегать к лживой пропаганде, судебным инсценировкам и т. п., оно втайне фиксирует подлинные факты и когда-нибудь в будущем их обнародует. Мы, думаю, можем со всей уверенностью сказать, что это не так,

потому что подобный образ действий характерен для либерального историка, убежденного, что прошлое невозможно изменить и что точность исторического знания – нечто самоценное и само собой разумеющееся. С тоталитарной же точки зрения историю надлежит скорее творить, чем изучать. Тоталитарное государство – в сущности, теократия, и его правящей касте, чтобы сохранить свое положение, следует выглядеть непогрешимой. А поскольку в действительности не бывает людей непогрешимых, то нередко возникает необходимость перекраивать прошлое, чтобы доказать, что той или иной ошибки не было или что те или иные воображаемые победы имели место на самом деле. Опять же всякий значительный поворот в политике сопровождается соответствующим изменением в учении и переоценками видных исторических деятелей. Такое случается повсюду, но в обществе, где на каждом данном этапе разрешено только одно-единственное мнение, это почти неизбежно оборачивается прямой фальсификацией. Тоталитаризм на практике требует непрерывного переписывания прошлого и в конечном счете, вероятно, потребует отказа от веры в самую возможность существования объективной истины. Наши собственные сторонники тоталитаризма склонны, как правило, доказывать, что раз уж абсолютная истина недостижима, то большой обман ничуть не хуже малого. При этом они твердят, что все исторические свидетельства пристрастны и неточны, да к тому же и современная физика доказала: воспринимаемое нами как объективная действительность – обман чувств, поэтому полагаться на собственное восприятие – значит всего лишь впасть в примитивное филистерство. Если когда-нибудь где-нибудь бесповоротно восторжествует тоталитарное общество, оно, вероятно, учредит некий шизофренический образ мышления, допускающий опору на здравый смысл в повседневной жизни и в некоторых точных науках и предполагающий отказ от здравого смысла в политике, истории и социологии. Уже появилась масса людей, у которых фальсификация научного учебника вызовет возмущение, но в фальсификации исторического факта они не видят никакого преступления. Именно в точке пересечения литературы и политики тоталитаризм оказывает на интеллигенцию самое большое давление. Ничего подобного точным наукам в настоящее время не грозит. Это можно отчасти объяснить тем, что в любой стране ученым легче, чем писателям, выстраиваться в затылок своему правительству.

Чтобы не отвлекаться от темы, позволю себе повторить сказанное в начале статьи: в Англии непосредственными противниками правды, а стало быть, и свободы мысли, являются газетные бароны, киномагнаты и бюрократы, но в конечном итоге самый опасный симптом – ослабление тяги к свободе у самой интеллигенции. Может показаться, что я все время рассуждаю о воздействии цензуры не на литературу в целом, а только на одну из областей политической журналистики. Советская Россия образует в британской печати своего рода запретную зону, такие проблемы, как Польша, гражданская война в Испании, советско-германский пакт и т. д., не подлежат серьезному обсуждению, и, коль скоро вы располагаете сведениями, которые противоречат господствующему мнению, вам положено либо извратить эти сведения, либо о них умолчать – да, все это так, но при чем тут литература в широком смысле слова? Разве всякий писатель – политик, а каждая книга обязательно прямой репортаж? И при самой жесткой диктатуре разве не может писатель как личность сохранить внутреннюю свободу и преобразить или перелицевать свои еретические мысли таким образом, что у властей не хватит мозгов их распознать? А если уж сам писатель разделяет господствующие взгляды, почему это должно его непременно сковывать? Ведь литература, как и всякое искусство, расцветает успешнее всего в том обществе, где нет радикального противоречия во мнениях и резкого расхождения между художником и публикой. И так ли уж обязательно предполагать, что каждый писатель – бунтарь или уж непременно личность исключительная?

Всякий раз, как только берешься защищать свободу мысли от посягательств тоталитаризма, сталкиваешься с этими доводами, изложенными в той или иной форме. Они опираются на полностью искаженные представления о том, что такое литература и как – может быть, лучше сказать почему – она возникает. Они исходят из предположения, что писатель – либо пустой забавник, либо продажный поденщик и так же легко меняет один пропагандистский «ключ» на другой, как шарманка переходит от мелодии к мелодии. Но в конце концов, зачем вообще пишутся книги? За исключением низкопробной беллетристики, литература – это попытка повлиять на взгляды современников путем записи жизненного опыта. И поскольку речь идет о свободе выражения, не так уж и велика разница между простым журналистом и самым «аполитичным» писателем-творцом. Журналист не свободен и ощущает свою несвободу, когда его понуждают писать ложь или замалчивать важное, по его мнению, известие; писатель-творец не свободен, когда ему приходится извращать свои личные чувства, каковые, с его точки зрения, суть факты. Он может показать действительность в искаженном и окарикатуренном виде, чтобы прояснить, что именно хочет сказать, но он не может исказить картину собственного сознания, не может и с малой долей убедительности говорить, что ему нравится то, что не нравится, или он верит в то, во что не верит. Если его заставляют это делать, конец один: его творческий дар иссякает. Если он обходит острые темы, это тоже не выход из положения. Стопроцентно аполитичной литературы не существует, и уж тем более в век, подобный нашему, когда на поверхность сознания выходят чисто политические по своей природе страхи, страсти и приверженности. Одно-единственное табу способно искалечить сознание, так как всегда остается опасность, что любая мысль, если позволить ей развиваться свободно, может обернуться запретной мыслью. Из этого следует, что воздух тоталитаризма губителен для любого прозаика, хотя поэт, особенно лирический, возможно, и смог бы им дышать. И во всяком тоталитарном обществе, сохраняющемся больше двух поколений, возникает угроза гибели художественной прозы – той, что существует на протяжении последних четырех столетий.

Иногда литература процветала и при деспотических режимах, однако, как нам часто напоминают, деспотии прошлого не были тоталитарными. Их аппарат подавления никогда не оказывался на высоте, их правящие классы бывали, как правило, развращены, или равнодушны, или заражены либеральными идеями, а господствующие верования обычно не согласовывались с доктринами абсолютного совершенства и человеческой непогрешимости. Но при всем этом очевидная истина такова, что наивысший расцвет проза переживала в эпохи демократии и свободы мысли. Новизна тоталитаризма – в том, что его доктрины не только неоспоримы, но и переменчивы. Человеку надлежит принимать их под страхом отлучения, однако, с другой стороны, быть всегда готовым к тому, что они в одну минуту могут перемениться. Взять, к примеру, различные, полярно несовместимые позиции, которые английский коммунист или «попутчик» был вынужден занимать в отношении войны между Британией и Германией. До сентября 1939-го ему на протяжении многих лет полагалось возмущаться «ужасами нацизма» и каждым написанным словом клясть Гитлера; после сентября 1939-го ему год и восемь месяцев приходилось верить в то, что Германия претерпела больше несправедливости, чем творит сама, и словечко «наци», по крайней мере в печатном тексте, было начисто выброшено из словаря. Не успел наш английский коммунист в восемь часов утра 22 июня 1941 года прослушать по радио выпуск последних известий, как ему надлежало вновь уверовать, что мир не видел более чудовищного зла, чем нацизм. Политику, скажем, такие зигзаги даются легко; с писателем – другое дело. Если ему приходится по команде менять ориентацию, он вынужден либо врать о своих подлинных чувствах, либо их решительно подавлять. В любом случае он разрушает свой творческий потенциал. Его не только покинут творческие замыслы – сами слова, к которым он обращается, будут под его пером

выглядеть мертвыми. В наше время политические работы чуть ли не целиком строятся из фраз-заготовок, которые подгоняются одна к другой на манер деталей детского конструктора. Таково неизбежное следствие самоцензуры. Чтобы писать ясным живым языком, следует мыслить бесстрашно, а если человек бесстрашно мыслит, он не может быть политически правоверным. В «эпоху веры» могло быть по-другому, но тогда и господствующая религия насчитывала много веков, и отношение к ней было не слишком серьезным. В этом случае человек мог или мог бы освободить многие сферы сознания от воздействия официального вероучения. И все же следует отметить, что на протяжении единственной эпохи веры в истории Европы проза почти исчезла. За весь период средневековья произведения художественной прозы, можно сказать, не появлялись, а исторических сочинений было очень немного; властители умов средневекового общества излагали свои самые глубокие мысли на мертвом языке, который едва ли изменился за целое тысячелетие.

Тоталитаризм, однако, сулит нам не столько эпоху веры, сколько эпоху шизофрении. Общество превращается в тоталитарное, когда его структуры становятся вопиюще искусственными, то есть когда его правящий класс утрачивает свое назначение, но силой или обманом продолжает цепляться за власть. Подобное общество, сколь бы долго оно ни сохранялось, никогда не сможет себе позволить терпимости или интеллектуального равновесия. Оно никогда не сможет допустить ни правдивого изложения фактов, ни искренности чувств, потребных для литературного творчества. Но чтобы быть развращенным тоталитаризмом, не обязательно жить в тоталитарной стране. Распространение определенных воззрений само по себе способно так отравить все вокруг, что для литературы начнет закрываться тема за темой. Везде, где насаждается ортодоксия – или две ортодоксии, как то нередко случается, – хорошей литературе приходит конец. Гражданская война в Испании – превосходный тому пример. Многих английских интеллигентов она потрясла, но они не могли писать об этом честно и прямо. О войне дозволялось говорить только две вещи, и обе были очевиднейшей ложью; в результате о войне написаны тысячи страниц, а читать почти нечего.

Трудно сказать, воздействует ли тоталитаризм на стихи так же однозначно губительно, как на прозу. В силу взаимодействия целого ряда причин поэту дышится в авторитарном обществе легче, чем прозаику. Прежде всего, бюрократы и прочие «практичные» лица, как правило, слишком презирают поэта, чтобы вникать в то, что он там пишет. Во-вторых, то, что он пишет, то есть «содержание» стихотворения, переложенное на прозу, не представляет особого значения даже для самого поэта. Мысль, заключенная в стихотворении, всегда проста и не более для него существенна, чем для картины – первоначальный сюжет. Стихотворение – это сочетание звуков и ассоциаций, подобно тому как картина – сочетание мазков. Больше того, короткие фрагменты поэтического текста, например припев в песне, могут и вообще не нести смысла. Вот почему поэту довольно легко удастся обходить опасные темы и избегать еретических высказываний; а если он их даже и допускает, они могут проскочить незамеченными. Но самое главное – хорошие стихи в отличие от хорошей прозы не обязательно результат индивидуального творчества. Поэтические произведения некоторых жанров, например баллады, или, с другой стороны, продукты искусственных версификаторных форм могут создаваться коллективно, в творческом содружестве. Были ли древние английские и шотландские баллады первоначально сочинены отдельными авторами или родились в гуще народной – вопрос спорный; но они по меньшей мере внеличны в том смысле, что непрерывно изменяются в изустной передаче. Даже в публикации два варианта одной баллады никогда не совпадают полностью. У многих примитивных народов стихи сочиняются всей общиной. Один начинает импровизировать, скорее всего подыгрывая себе на каком-нибудь музыкальном инструменте, другой вступает со своей строкой или

рифмой, когда первый замолкает, и так оно продолжается, пока не сложится песня или баллада, которая не имеет конкретного автора.

В прозе такое задушевное сотрудничество совершенно невозможно. Во всяком случае, серьезную прозу приходится писать в одиночестве, тогда как волнующее осознание себя частью творческой группы и в самом деле способствует созданию определенного типа версификации. Стихи – и, возможно, хорошие стихи на своем уровне, хотя уровень этот не будет самым высоким, – могли бы выжить даже в условиях наиболее драконовского режима. Даже общество, где свобода и индивидуальность истреблены, все равно будет нуждаться либо в патриотических песнях и героических балладах, славословящих победы, либо в замысловатых льстивых виршах; и такие стихи можно писать по заказу или сочинять коллективно, не обязательно лишая их при этом художественной ценности. Проза – другое дело: ставя границы собственной мысли, прозаик тем самым убивает творческое воображение. Но история тоталитарных обществ, групп или объединений, исповедующих тоталитаризм, показывает, что утрата свободы враждебна всем формам литературы. За годы гитлеровского режима от немецкой литературы почти ничего не осталось, и в Италии положение было немногим лучше. Русская литература, насколько можно судить по переводам, после первых лет революции пришла в заметный упадок, хотя отдельные ее поэтические произведения, очевидно, лучше прозаических. Русских романов, заслуживающих серьезного к себе отношения, за последние пятнадцать лет появилось в переводах считанное число, а может быть, и вообще не появилось. В Западной Европе и в Америке большие отряды литературной интеллигенции либо прошли через членство в коммунистической партии, либо горячо ее поддерживали, однако это массовое левое движение породило удивительно мало книг, которые стоит прочесть. С другой стороны, и правозащитный католицизм, похоже, крепко порушил определенные литературные жанры, в первую очередь роман. Много ли наберется за три столетия добрых католиков, которые в то же время были и хорошими романистами? Просто есть вещи, со славословием несовместимые, и тирания – одна из них. Не написано ни единой хорошей книги во славу инквизиции. Поэзия может уцелеть в тоталитарные времена; некоторым искусствам или полуйскуссствам типа архитектуры тирания могла бы даже пойти на пользу; но прозаику остается единственный выбор – между молчанием и смертью. Проза, какой мы ее знаем, – это дитя разума, протестантской эпохи, независимой индивидуальности. А умерщвление свободы мысли парализует журналиста, социолога, историка, романиста, критика и поэта – именно в такой последовательности. Не исключено, что в будущем возникнет литература нового типа, которая сумеет обходиться без личных чувств и честного изучения жизни, но в настоящее время ничего подобного невозможно представить. Куда вероятнее, что, если либеральной культуре, в условиях которой мы существуем с эпохи Возрождения, придет конец, то вместе с ней погибнет и художественная литература.

Разумеется, печатное слово останется, и любопытно прикинуть, какого рода материалы для чтения уцелеют в жестком тоталитарном обществе. Скорее всего останутся газеты – пока телевидение не поднимется на новую ступень, – но, если исключить газеты, уже теперь возникает сомнение: ощущают ли огромные массы народа в промышленно развитых странах необходимость в какой бы то ни было литературе? Во всяком случае, они намерены тратить на печатные издания гораздо меньше того, что тратят на некоторые другие виды досуга. Вероятно, романы и рассказы раз и навсегда уступят место кинофильмам и радиопостановкам. А может, какие-то формы низкопробной сенсационной беллетристики и выживут – ее будут производить своего рода поточным методом, сводящим творческое начало до минимума.

Человеческой изобретательности, видимо, достанет на то, чтобы книги писали

машины. Механизированный процесс уже, как легко убедиться, запущен в кино и на радио, в рекламе и пропаганде, а также в примитивных разновидностях журналистики. Например, диснеевские фильмы делаются, по существу, фабричным методом, когда работа выполняется частью механически, частью – бригадами художников, каждый из которых подчиняет собственный стиль общей задаче. Сценарии радиопостановок обычно пишут измотанные литподенщики, которым заранее заданы тема и ее освещение; но и здесь то, что выходит из-под их пера, – всего лишь заготовка, а уж продюсеры и цензура перекраивают ее по-своему. Сказанное справедливо и в отношении бесчисленных книг и брошюр, которые пишутся по заказу правительственных служб. Еще больше напоминает фабрику производство рассказов, романов «с продолжением» и стихов для дешевых журнальчиков. Газеты типа «Райтер»[6 - «Райтер» – «Писатель» (англ.)] пестрят объявлениями литературных мастерских, предлагающих вам готовенькие сюжеты по несколько шиллингов за штуку. Некоторые в придачу к сюжету поставляют начальные и завершающие фразы для каждой главы. Другие готовы снабдить вас чем-то вроде алгебраической формулы, с помощью которой вы сами можете конструировать сюжеты. Третьи предлагают наборы карточек с персонажами и ситуациями, так что достаточно перетасовать и разложить колоду, чтобы хитрый сюжет составил сам собой. Таким или иным сходным образом, вероятно, будет делаться литература в тоталитарном обществе, если оно сочтет, что литература пока что ему необходима. Воображение – и даже, насколько возможно, сознание – будет исключено из процесса писания. Бюрократы станут планировать книги по основным показателям, а сами книги – проходить через столько инстанций, что в конце концов сохранят не больше от оригинального произведения, чем сходящий с конвейера «форд». Само собой разумеется, все производимое таким способом будет хламом; но все, что не хлам, будет представлять опасность для государственного устройства. Если же говорить о литературном наследии, то его потребуется изъять или, на худой конец, тщательно переписать.

Однако же тоталитаризм нигде не сумел полностью восторжествовать. Наше собственное общество по-прежнему либерально – в широком смысле. Чтобы реализовать право на свободу слова, приходится бороться с экономическим принуждением и с влиятельными тенденциями в общественном мнении, но пока еще не с тайной полицией. Можешь говорить или печатать почти все, если только согласен не привлекать к себе при этом внимание. Но что внушает ужас, так это, как я сказал в начале статьи, сознательная враждебность свободе со стороны тех, кому она должна быть всего дороже. Широкой публике нет дела ни до свободы, ни до ее противников. Она, публика, не одобрит преследований еретика, но и лезть из кожи вон не будет, чтобы его защитить. В массе своей люди слишком здравомыслящи и в то же время слишком недалеки, чтобы воспринять тоталитарные взгляды. Прямое и сознательное наступление на честную мысль ведут сами интеллигенты.

Просоветски настроенная интеллигенция, не подпади она под воздействие именно этого мифа, возможно, поддастся бы какому-нибудь другому, во многом похожему. Но русский миф в любом случае налицо и действует разлагающе. Когда видишь, как высокообразованные люди равнодушно взирают на подавление и преследования, трудно понять, что заслуживает большего презрения – их цинизм или их близорукость. Многие ученые, к примеру, слепо восторгаются СССР. Они, похоже, считают удушение свободы несущественным, постольку поскольку оно в данный момент не затрагивает их собственной деятельности. СССР – огромная быстро развивающаяся страна, которая остро нуждается в научных кадрах и по этой причине им покровительствует. Ученые, если только они за версту обходят опасные дисциплины вроде психологии, – люди привилегированные. Писатели же, напротив, преследуются. Правда, литературные содержания типа Ильи Эренбурга или Алексея Толстого получают

большие деньги, но единственное, что представляет хоть какую-то ценность для писателя как такового, – свобода самовыражения – у них отнято. Некоторые из английских ученых, с таким восторгом распространяющихся об огромных возможностях, предоставленных их коллегам в России, способны это хотя бы понять. Но их соображения, судя по всему, таковы: «В России преследуют писателей. Ну и что? Я-то не писатель». Они не видят, что любые посягательства на свободу мысли и на идею объективной истины в конечном счете несут угрозу каждой отрасли знания.

В настоящее время тоталитарное государство терпит ученого, потому что нуждается в нем. Даже в Германии при нацизме с учеными, исключая евреев, обходились сравнительно хорошо, и немецкое научное сообщество в целом не оказало Гитлеру никакого сопротивления. На нынешнем историческом этапе даже наиболее самодержавный правитель вынужден считаться с материальной реальностью – отчасти из-за пережитков либерального образа мышления, отчасти из-за необходимости готовиться к войне. До тех пор пока невозможно полностью игнорировать материальную реальность, до тех пор пока два и два в сумме должны давать четыре при расчете, например, проекта самолета, ученый выполняет свои обязанности, и ему даже может быть предоставлена свобода – в определенных границах. Отрезвление придет к нему потом, когда тоталитарное государство основательно утвердится. Но если он намерен защищать честь науки, сегодня его задача – каким-то образом поддержать своих литературных коллег и не отмахиваться: «Пустяки!» – когда писателям затыкают рот или доводят их до самоубийства, а газеты систематически врут.

Как бы ни обстояло дело с естественными науками или с музыкой, живописью и архитектурой, в одном, как я попытался показать, можно быть твердо уверенным: литература обречена, если погибнет свобода мысли. Мало того, что она обречена в любой стране, где сохраняется тоталитарная структура, – любой писатель, воспринимающий тоталитарное мировоззрение и находящий оправдания преследованиям и искажению действительности, тем самым уничтожает в себе писателя. Это неизбежный процесс. Никакие обличения «индивидуализма» и «башни из слоновой кости», никакие благоглупости в том смысле, что «подлинная индивидуальность обретается только в слиянии с обществом», не способны изменить тот факт, что продавшийся ум есть ум порочный. Без непосредственности на том или ином этапе творческого процесса литературное созидание становится невозможным и сам язык костенеет. Когда-нибудь в будущем, если человеческий разум превратится в нечто совершенно отличное от себя нынешнего, мы, возможно, научимся отделять литературное творчество от честной мысли. Но в настоящем мы знаем только, что воображение, подобно некоторым диким животным, не желает размножаться в неволе. Каждый писатель или журналист, эту истину отрицающий – а почти все теперешние славословия по адресу Советского Союза несут в себе или подразумевают такое отрицание, – по существу, работает тем самым на свое уничтожение.

1945–1946

Примечания

1 «Ареопагитика» – Джон Мильтон.

2 Справедливости ради замечу, что торжества в пен-клубе, занявшие больше недели, не все проводились на одном и том же уровне. Мне просто выпал неудачный день. Но знакомство с речами (их сборник опубликован под названием «Свобода слова») показывает, что в наши с вами времена почти не осталось людей, способных отстаивать свободу мысли так же убедительно, как то удавалось Мильтону триста лет тому назад – и это при том, что он писал в эпоху гражданской войны. Прим.

автора.

3 Возрожденцы – Радикальная протестантская секта.

4 Mythos – Миф, мифологические представления (греч.).

5 ...не было квислингов – Имеется в виду норвежский государственный деятель В. Квислинг, сотрудничавший с немецкими оккупантами Норвегии во Вторую мировую войну.

6 «Райтер» – «Писатель» (англ.).